

*«И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить её под сосуд или под кровать ...»*

Ев. Марк, 4,21-25.

Мы приходили вечером, на ранних сумерках, когда роса ещё не разбросалась по улицам, заросшим ромашкой, мягким шпарышом, клевером и бузиной, но дымка легкого тумана ползла по реке. Сырость, спускаясь с гор, накрывала долину густым тёмным воздухом прелых листьев, мха, еловым духом тёмного бора. Вечерняя прохлада одевала нас в кофты даже летом.

Осторожно выходили первые звёзды, выводя ночь и тускло мерца в мареве гаснущего дня, перемигивались, готовясь войти в рясный хоровод на бархате темневшего неба. То тут, то там слышался редкий звон одинокого «болтуна» – коровьего колокольчика, припозднившейся тёлки.

Мы проходили Озёрной улицей, слыша звон молока, льющегося в ведра вечерней дойки и возгласы хозяек: «Да стой ты, шалая, стой

«смирно», – почище армейских будут зычные голоса здешних баб. Сонное кудахтанье кур усаживающихся на ночлег, бухтенье кобелей, перебранку мамок и сонных пацанов, не желающих мыться, скрипели ставни, запираемые на ночь скорее от наступающего мрачного леса, чем от шальных гостей.

Голос бабы Шуры, уходившей в вечерние розыски тёлки, певуче повторял: «Майка, Майка, Майка». Лёгкий передых и по новой, с гулкой силой: «Майка, Майка, Майка...», угасая и удаляясь на окраину, и уже сквозила усталость в сумеречном призыве блудливой коровы. Пахло вяленой травой, переложённым сеном, смоляными опилками дневной рубки дров, сладким запахом дички, рассыпанной на сушку – станичники заготовлялись. Будил в нас вечерний аппетит запах чёрного хлеба и заданного овса нагулявшемуся скоту.

Мы ходили в станицу из заброшенного трёхдомного хутора напрямую, через реку, подолгу замирая на бурном течении стремнины, качаясь, и выбирая место для ноги. Весёлая и шумная вода Пшехи, перекатываясь через слизанные камни и куски мягкой синей глины, звала нас: «Со мной, со мной». Мы выбирались, продрогшие и бодрые, на высокий берег, раздвигая заросли лозняка и молодого ольховника, шпаря ноги в ажиннике, с шорохом сыпали из под ног сухую глину, разбитую песком. Береговушки, возмущённые вечерним вторжением попискивали, и пикировали к самой воде. Проходили мимо уютных листов мать-и-мачехи и шли через широкий луг в станицу. Низкое солнце, путаясь под ногами, высвечивало и золотило кожу, длинные тени ложились на заезженную дорогу с лежалой травой. Лошади, пригнанные в ночное, поднимали морды, застывая подолгу, смотрели на нас сливовыми глазами, кланялись, кивали, встряхивая гривами, спутанными репейником, с шумом выдували ноздрями горячий воздух и принимались за своё, забыв о нас.

Старики, перебираясь от двора ко двору, по долгу застревая на «новостях» у хат, покуривая, задираясь и пересмеиваясь, собирали и несли все события для вечерних посиделок на завалинке, укреплять авторитет осведомленностью о жизни станичников. Такие вечера спасали стариков от бессонницы и воспоминаний: по ночам они вздыхали, ворочались и скрипели, как старые избы, переполненные снами и душевными муками воспоминаний.

Мы приходили каждый день на «пяточок» послушать стариков, выживая, словно большую рыбу, истории, про то, что случилось и наладилось, а что и позабылось в ворохе событий. Садились мы чуть поодаль, чтобы не дразнить стариковское брюзжание и сетование на нашу бесшабашную молодость и городскую праздность.

Шумные перебранки: «Да что ты мелешь, хде, хде? Та это ж вона хде, около кизилловой балки жили, коло покоса, а ты мелешь почём

зря» ...«Да где же у кизиловой? Када они испокон жили на даялах, у садов, они и зато дичку собирали всегда больше против нас»... «Ну ты и горазд брехать, как твой Паскуда». Паскуда – известный пёс на станице, не раз облаивавший нас без устали.

Так, выматываясь в стычках, редко приходя к согласию, устанавливали деда правду и расцветала на наших глазах история – невиданные узоры человеческих судеб проходили перед нами в узком круге света костра и обступали нас тени ушедших. То тут, то там, заглядывали они в наши задумчивые лица, приближались к мягкому теплу огня и согревались нашими удивленьем, смехом, слезами и восхищением. С каждой «историей», они входили и смело садились среди нас, подталкивали локтями, утирая слезы, хлопали себя по коленам, качали головами, «дакали» протяжно, и уходили в ночную мглу успокоенные и счастливые – здесь их не забыли.

Особенно радовал нас редкой памятью и солёным, остроумным словом дед Мосиенкин, все звали его за глаза просто – Контра. Ох и злой же язык, особенно «противу баб», был у этого сухого и трескучего деда. Въедливый до каждого малого факта и «установления истинности», он мучил нас расспросами про «городское», но и одаривал редкой красоты рассказами, из которых становилось ясно, что многие события станичной жизни могут иметь причины, недоступные нашему, городскому разумению. Всякий станичник получал от него меткое прозвище, точно в самую суть характера и нрава, и надолго забывали уже имя и фамилию «перекрещённого» и само событие, с которым это прозвище было связано.

«Эх, Мишка, не выросла твоя сардинка для Катькиной мальвинки». И становилась миловидная, лёгкая, крутобокая Катька – Мальвинкой, до трясушей старости и седых кос. Или: «Эх, Васька, что ты за человек такой, костыль ты, а не человек – все приткнутся, тебе прислониться надо. Кто под мышку приткнёт, тот и пользуется». И становился Васька отныне – Костылём до скончания дней. И точно, как костыль на ходу, поддёргивался и подпрыгивал, переставляя худые длинные ноги...

Мы шли и уже знали, что станичные парни ходили в Цуревский и опять там бились. Давняя, не проходящая вражда Ширванских и Цуревских была для жителей естественным и простым фактом традиции, как блины в масленицу. Или что коровы у Хворостенкиных всегда рябые выходят, к какому бы быку их не водили, или что лучшее вино у армяней на Маратуках из их мелкого зернистого винограда...

Последствия побоища собирали участковые и сельсоветные, обходя дворы, вызывая на разговор, и придирчиво осматривали перебитые носы, и раскрашенные скулы, записывая всех побитых.

Причины такой вражды были неясны, путаны и противоречивы, терялись в прошлом, как следы зайцев по ноябрьскому снегу: где собачьи, где заячьи – на рыхлом тёплом безнастье не разберёшь. Наши старики, озабоченные военными действиями, спорили и путались, разгадывая причины ненависти. И всё выходило, что Цуревские по всем статьям за дело получали.

«Они завсегда телят наших уводили», табачники, всю жисть мы, Ширванские, в батраках у них». Табачниками их окрестили, потому что вокруг Цуревского сажали отменный табак. «А девок наших сманивали и еропланы у них первых, потому как земля у них пологая, а мы принуждены с лесом, да балками, да ручьями меститься, где тут среди камней хоть помидорку тиснуть». От причин таких множилось и разгоралось старое, забытое. Деда перхали, распалили гнев, подогревались воспоминаниями своих молодых боёв с подлыми пригородными.

Дед наш молчал, мрачнел, перекалывал сухие корявые руки на выглаженной временем суковатой палке, сверкал глазами и кричал, прочищая горло. Мы уже ожидали его «правды противу брехни» – прозвище его Контра было ему по характеру – завсегда он против «общества» шел, своими путями. И дед не выдержал, цыцнул во всей злости стукнув палкой. «Ишь закудахтали, как бабы на сносях! А вы лучше мне скажите, за что такое они нас, Ширванских, «богопалами» прозвали? Не знаете? А туда же стрекотать языками...».

Тишина постановилась такая, что сверчки, удивившись ей, застрекотали осторожнее и спокойнее. Пел комар. Петрович, ещё крепкий, кряжистый, дубовый мужик, хлопнул себя по щеке, звон раскатился, но комар не смолк, злее запищал только. Дед заговорил, и голос его дребезжал, как расстроенная фисгармонь. Он говорил, надолго замолкая, вглядываясь в то, что хотелось забыть и скрыть.

«Давнее это, и не простое, я ещё мальчонкой был. Погоды стояли вот такие же – жаркие дни были, кизилу набросало на ветки рясно, как кровь кто стряхнул, ягода в сок вошла, но да нам не до ягод было. В тот год история понеслась кровавая, бились все, стрелялись. Казаковали станичники крепко, но ушли и они, и установились босяки во власти. На третьи сутки постановили они «стряхнуть оковы проклятой бедности». А бедность-то она, от чего была? От лени одной, да пьянки, да бузы. Вечером собралась самая голытьба – дед мой их струкалями называл, «наберутся» да струкалят под себя, с мотнями так и ходят – разграбили они подвалы местных армян-виноделов, да перепились до помутнения компоту, и попалась им на зуб церковь. Ох, и красивая же стояла! Говорят, богатая была, место наше высокое, далеко её видать, на всю округу. Ехали к ней, и отдаля, как пчелы собираясь – мужички везли что

получше, вот и вышло, что «богатств» там и привиделось этим буянам».

Мы молчали, представляя, как шла пьяная толпа в центр станицы гульбанить и преткнулась она, как волна об утёс, налетела на Храм, взбудоражилась и разозлилась его устойчивости в мире, где всеё уже перевернулось и понеслось, не разбирая жизнью.

«Ох и жуть это была – грабеж! Тащили всё по-разбойничьи, разбирая топорами и ломами алтарь, растаскивали баграми, выламывая иконостас. А потом, видать, от злости по причине ненайденных сокровищ – решили сжечь. Матерясь и переругиваясь, подбадривая друг друга, обложили хворостом и снутри – чтоб и нутро сгорело. Я помню как всю ночь стояло зарево, мать моя покойница всеё стонала и гревала, закрывая мне глаза рукой».

«Проспались разбойники, помолчали, да тайком от друг дружки бегали к кузнецу Игнату за раствором, сусало с икон снять, что повытаскивали... А кто и так шкрёб, не скрываясь. Три дня стояла тишина, и ветер не шелохал дубы, видать все ждали, что гнев Божий стуканёт по «лбам медным», а оно ничё – пронесло. Видать, среди всеобщего пожара наш костерок и не заметился. Осмелели, гром не грянул, мужики не перекрестились. А оно ведь грабёж, как голод, мне «фельдшнер» наш, Михалыч, рассказывал: есть такая болячка – брюхо растянутое, человек ест да ест, а всё жрать охота, так и до точки бесчинства дойти хочет, ажно в нутрях всё пылает тем огнём».

«На пятый собрались паскуды и придумали, буяны такие, цуревских идти учить вольнице беспоповой, да только цуревские не таковские оказались, встретили их вилами да обрезам. Старший сын Рыбкиных, Лёнька, предупредил их – он как увидал пьяную банду, стреканул в Цуревский напрямки через балку, по ручью, да мать его выскочила и вопила вслед, воротить хотела, тем и выдала его намерения. Откатились наши назад – набуцкали их Цуревские, по зубам дали хорошо, – закусали обиду, да задуманного не оставили. Подготовились – ружьишки охотцы набрали да, постреляв защитников, сожгли цуревским их церквушку. Леньку нашли в стогу заколотым вилами, Егоровские жмыри видать выловили, сами потом и сгнули где-то в Сибири. Воно оно как было. Так и стали цуревские звать нас – «богопалы», богопалы мы выходит и есть».

Долго старички наши и мужики сидели, боясь хоть словом о себе выдать, никому не хотелось думать, где были их деды и отцы в то мрачное событие. И всё шло им, что нескладность станичная и потерянность их от того родимого пятна, что остался после пожаров.

«Выходит, тёмная история, и кругом виноватыя, а? Кондрад? Ты кажи, какие злодеи безбожные выискались...».

Кондрат закурил, мы видели как слезился глаз, то ли от старости, то ли от вспомненного и пережитого...

«Так-то оно так, только и Цуревские христовыми не были, отместили они, жестоко отместили. Как оно всё кончилось, через неделю, ровно в воскресенье, в ночь, подожгли они вокруг сенокосы и рожь, и лес подожгли, и риги старые запалили. А тут ветрогон сухой, вот и пошёл шторм огненный, стеной гнал. Кто куда скакал, в чём были, в том и выпрыгивали – спасались, в реку ныряли, так и стояли, пока не стихло. Скотины погорело, корма на зиму, хозяйства в труху, всё вчистую – пепелище одно. Вона как «покрестили» они нас. А тут зима накатила, голод пришёл. Ну тут уж он и нас и цуревских смирил да побратал. Сгинули те люди, до единого сгинули, и могил нету. А вы уж так, почитай, все приезжие. А за дурное взялись: морды бить хватаетесь! Не ваша она война, тех уж Господь рассудил, да по местам разостлал, как полагается».

Мужики вздыхали, сокрушенно мотали головами, собирая глубокие складки между седых бровей.

«От тебе и пьянка доводит»

«Так оно же вся Россия такова, не тонкмо мы, оттого и складу нет, и жизнь как сажа...».

«Ох, и всыплю же я своему дурню, Андрюхе, чтоб не смел больше и носу в Цуревский!» – запальчиво зашумел кто-то – мы не увидели кто, в отблеске того страшного, жадного огня.

Возвращались мы на хутор за полночь, провожал нас малёк Колька, у него был знатный фонарик – жужик, и он был рад им пофорсить. Мы шли задумчивые и тревожные, всё думая о сгоревших церквях, о Лёньке, и всё принохивались. И вроде гарью тянет, и горчит в горле, и слышится треск разгорающихся вдали костров... Но нет, тишина и свежесть ночи, и тихий шелест лёгких касаний раннего листопада, и ожидание плакучих дождливых дней близкой осени, уносит высокие грозные тени прошлого..

«Да не слушайте вы Кондрата, он ещё не такого расскажет, пугает он вас, городских! Нам учительница в школе про такое не говорила, а она у нас грамотная, про всё-всё рассказывает».

Улыбнулись мы Колькиной белокурой чистой правде и согласились. Да и правда, вон, стоит церковь, новенькая, ладная и светлая. Но, всё же, где-то и в нас лежит уголь от того буйного огненного года ночных пожарищ и, может, ждёт своего часа и дыхания сухого душевного ветра.